

МШАВА

Повесть

Сегодня мы хотим напомнить читателям еще об одном литературном крестнике нашего журнала — о замечательном сибирском писателе Аскольде Якубовском (1927 — 1983).

Это был художник яркого самобытного таланта и широкого творческого диапазона. С одинаковым успехом он выступал и как писатель-реалист, и как фантаст (его перу принадлежит более десятка фантастических произведений, среди которых такая широко известная вещь, как повесть «Аргус-12»).

Осваивал А. Якубовский в своем творчестве многие темы, поднимал различные проблемы современного ему бытия. Но, пожалуй, ближе всего писателю (и острее он их чувствовал) были взаимоотношения человека и природы. Об этом писал он всю жизнь много, охотно и увлекательно, даря читателям прекрасные рассказы и повести о рыбалке, охоте, «братьях наших меньших»...

Собаки, надо сказать, были особой А. Якубовского страстью. С них началось его литературное творчество, им посвятил он целую серию рассказов («Стрелка», «Лобастый», «Возвращение цезаря» и др.) и полную трагизма повесть «Четверо» о брошенных на произвол судьбы четвероногих «друзьях человека». Здесь А. Якубовский выступил не только как блестящий анималист и писатель-натуралист, но и как тонкий художник-психолог. Видимо, это обстоятельство и дало основание В. Астафьеву — самому страстному охотнику, рыбаку и ценителю природы — сказать по поводу этих произведений: «Очень трогательны, до трепетности добры и одухотворены рассказы... о животных, особенно о собаках — тут уж прочитаешь, руками разведешь и подумаешь: «Вот если бы наши писатели умели так о людях писать...».

И такое одухотворенное чувство всего, что касается природы, являлось для А. Якубовского естественным состоянием. Самой природой оно ему изначально было отпущено и дальнейшей жизненной судьбой закреплено.

Аскольд Павлович Якубовский родился в Новосибирске. Отец его был художником, архитектором и изобретателем (отсюда и врожденный дар живописца словом). С детских лет будущий писатель самозабвенно любил природу и охоту. После десятилетки он окончил курсы картографии и с длительными экспедициями изъездил Сибирь и Дальний Восток. В них упрочивалась его страсть к охоте, вырабатывалось пристальное внимание к природе. И нарастало противоречие: любил все живое и не мог расстаться с

ружьем. «Это мучило, — признавался А. Якубовский в автобиографии, — быть может, это и толкнуло к литературному труду». И не только к нему. Был А. Якубовский еще и отменным фотохудожником-натуралистом, что, кстати, хорошо чувствуется в его словесных картинах природы.

Живописать А. Якубовский умел не только природу и ее обитателей. Изображение человеческих характеров ему тоже удавалось не хуже. Тем более, если человек оказывался перед лицом природы. А происходило это в большинстве его произведений — тех, прежде всего, где проблема «природа и люди» выходила на передний план. Как в повести «Браконьеры», например. Но и вне контекста природы человеческое существо высвечивалось А. Якубовским до самых подчас потаенных и темных глубин. Чему красноречивое свидетельство одна из лучших его повестей «Дом», в которой писатель показывает, до какого нравственного падения может довести безудержная страсть к стяжательству.

Исследованию стяжательства в различных его проявлениях посвящено немало страниц прозы А. Якубовского. А заговорил о нем в полный голос писатель еще в первом своем крупном произведении — повести «Мшава». Впервые она увидела свет в нашем журнале (1965, №12) и стала для А. Якубовского, опубликовавшего, кроме нее и ряда рассказов, в «Сибирских огнях» повести «Браконьеры», «История четырех» «Нивлянский бык» и «Черная фиола», трамплином в большую литературу. Ее мы и предлагаем ниже читательскому вниманию.

1

Бывает такое — придет тяжелый день, чаще в июльские липкие жары. Наползут грозовые тучи. Душно, смутно, люди взвинчены. Все валится из рук, все оборачивается своей неладной стороной.

Новый рабочий, делая затес, махнул топором **дуроломно** и **тяпнул** по сапогу... Хорошо, что у лентяев не бывает острых топоров!

Я **забинтовал** ему **ногу** и посадил чинить сапог. Отругал.

Разошелся в попреках, возвысил голос, и что же? — вспугнул лося. Тот вывернулся из кустов прямо на установленный теодолит. Свалил, конечно, а прибор, хотя и прочный, но ведь — оптический! Лось ускакал, треща кустами, а я **весь** остаток дня выверял теодолит. Сижу, а руки дрожат от злости.

И в небе прежнее — молнии искрят, прыгают на землю, громы катаются взад и вперед. А дождя — нет, чтобы смыть тяжелое, очистить воздух. Ничего не поделаешь, раз нанесло, остается пережидать.

И если разобраться подробнее, то и в жизни иногда бывает свой день несчастья, такой вот тяжелый день. Вот только что все в ней было хорошо, даже превосходно, — и уже нет ничего. Крутится прах, лежат обломки... И кажется — рухнул весь свет.

Такой грозовой день был в моей жизни пять лет назад, двадцать восьмого июля.

Проклятый день!.. Оглянешься, и не верится. Неужели было? Неужели вот этими самыми руками... Если бы знать! Если бы только знать! Мог ведь сказать Копалеву:

— Нет, Иван Андреевич, я туда не ходок! Куда хочешь посылай, сколько хочешь давай заданий, все сделаю, а туда не пойду.

И Копалев послал бы другого. Ну, поворчал бы, ну, вкатил бы выговор. Подумаешь, выговор, — в сравнении с тем, что произошло!..

Но ничего нельзя знать заранее. Забыть тоже нельзя: Хочется все выбросить из головы — и не можешь. Оно срослось с тобой, оно стало частью тебя самого. Живешь настоящим и делаешь все, что положено делать, а мысли (часть их) все еще там, в прошлом.

Работали мы в тот год на севере Сибири, в болотистой низменности между Обью и рекой Пур. Такие там места: иной раз километров десять — двадцать пройдешь и по сухому, зато неделями скачешь с кочки на кочку.

Да... Пять лет назад...

Двадцать восьмого июля...

Странная это штука — прошлое. Кажется, ушло, ну и ладно. Как старики говорят — «с богом». Но прошлое — это ты сам, только бывший.

...Помнится кое-что из детства, только хорошее, вкусными кусочками. Помню родных, их, взгляды, улыбки, голоса, руки. Помню разные случаи, помню мягких и теплых домашних зверей. Еще помнятся бутерброды. Их делала мама. Отрезала ломоть хлеба через всю булку, толсто мазала маслом, а сверху клала малиновое варенье: ешь, рыжик! Вкуснее всего эти бутерброды казались на улице, в обществе облизывающихся знакомых собак.

Иногда такое даже снится.

С годами понемногу забываешь внешний облик прошлого. Оно выцветает в памяти, выдыхается...

Но то не забывается. Хочешь забыть и не можешь. И рвется оно из прочих воспоминаний, как вода сквозь размытую плотину.

Все видится прозрачная северная тайга, прокисшая, болотистая...

В ушах — громом — отзвуки выстрелов.

...Николай Лаптев... Никола...

Я помню Николу как живого. Помню лицо, резкую подвижность, бойкий говор, запах — он почему-то всегда пах кедровыми орешками. Должно быть, оттого, что, плутая как-то с теодолитом без продуктов и патронов в нарымских кедрачах, мы недели три кормились орехами...

...Помнишь все, а главное... Оно затаилось, присело, словно медведь кустах.

Оно притворяется, делая вид, что забылось, растеряло самые важные мелочи, и приходит изредка и только во сне. Тогда видишь все снова,